



# Часть первая

## Глава 1

### ПЕРВЫЕ СУПРУЖЕСКИЕ ГОДЫ МОРЕЛОВ

Низинный вырос на месте Преисподней. Так называлась улочка, состоящая из крытых соломой, кособоких домишек на берегу ручья, при Гринхиллской дороге. Жили тут углекопы, что работали неподалеку в небольших шурфах с подъемниками. Ручей прятался среди черной ольхи, почти вовсе не пострадавшей от близости шахт, откуда ослики, устало бредущие вокруг ворот, вытаскивали уголь на поверхность. И повсюду окрест рассыпаны были эти шурфы, иные выработанные еще во времена Карла II, и немало углекопов и осликов копошилось в земле, точно муравьи, оставляя среди полей и лугов несуразные бугры и небольшие черные проплешины. И домишки этих углекопов, сгрудившиеся то там, то тут по два, по три, а то и вытянувшиеся в улочку, вместе со стоящими на отшибе фермами и жилищами чулочников, образовали поселок Бествуд.

Потом, лет шестьдесят назад, все вдруг переменялось. Мелкие шурфы исчезли под натиском шахт, принадлежащих финансовым тузам. В Ноттингемшире и Дербишире обнаружили большие залежи угля и железной руды. Родилось акционерное общество

«Карстон, Уэйт и К°». При чрезвычайном волнении собравшихся лорд Палмерстон официально открыл первую шахту компании в Спино-парке.

Примерно в ту же пору пресловутую Преисподнюю, о которой с годами пошла дурная слава, сожгли дотла и таким образом избавились от всяческой грязи.

Карстон, Уэйт и К° увидели, что дело оказалось прибыльное, и в долинах ручьев вокруг Селби и Наттола стали закладывать новые копи, так что скоро работа шла уже в шести шахтах. От Наттола по высокой насыпи среди леса протянулась железная дорога, мимо развалин небольшого картезианского монастыря, мимо родника Робин Гуда, к Спино-парку, потом к Минтону, — к большой шахте среди пшеничных полей, от Минтона через обработанные поля в долине к Банкер-Хилл, а там разветвлялась и уходила на север, к Беггерли и Селби, откуда уже видны Крич и холмы Дербишира; шесть шахт, точно черные шляпки гвоздей, вбитых то там, то здесь, и соединила петля тонкой цепочки — железной дороги.

Чтоб было где разместиться множеству углекопов, компания построила Квадраты, четырехугольники домов среди холмов Бествуда, а потом в долине ручья, на месте Преисподней, возвела Низинный.

Низинный состоял из шести кварталов шахтерских домиков — два ряда, по три квартала в каждом, точно домино, на котором шесть очков, и в каждом квартале двенадцать домиков. Оба ряда расположились у подножия довольно крутого склона, и оттуда, по крайней мере из окон мезонинов, видно было, как противоположная сторона долины полого поднимается к Селби.

Домики сами по себе были солидные и очень славные. Идешь — и всюду палисадники, и в нижней, те-

невой, части поселка, в них примулы, аврикулы и камнеломка, а в верхней, солнечной, — гвоздика турецкая и обыкновенная; у каждого домика ясные окошки, и крылечко, и невысокая живая изгородь из бирючины, и окошки мезонинов. Но так оно снаружи — к улице у всех шахтерских жен обращены нежилые гостиные. А жилая комната, она же кухня, в глубине дома, окнами на зады поселка, на жалкий огород и на выгребную яму за ним. А между рядами домов, между протянувшимися из конца в конец выгребными ямами — узкая улочка, где играют дети, судачат женщины, курят мужчины. Так что хоть и был Низинный так хорошо построен и так славно выглядел, истинные условия жизни были там совсем неприглядные, ведь жизнь-то шла в кухнях, а кухни выходили на эту чумазую улочку выгребных ям.

Миссис Морел переезжала из Бествуда в Низинный безо всякого удовольствия — он простоял к тому времени уже двенадцать лет и лучшие его дни миновали. Но выбора у нее не было. Хорошо хоть дом ей достался самый последний в ряду, в верхней части поселка, а значит, соседи только с одной стороны, а с другой — лишний клочок земли под огород. И поселившись в крайнем доме, она слыла среди здешних женщин чуть ли не аристократкой — ведь за дома, стоящие среди других домов, арендная плата была пять шиллингов в неделю, а за ее дом — пять с половиной. Но это превосходство не очень-то ее утешало.

Миссис Морел было тридцать один год, и замуж она вышла восемь лет назад. Небольшого росточка, хрупкая, но с решительной осанкой, она от первого знакомства с жительницами Низинного как-то съезжилась. Переехала она в июле, а в сентябре должна была родить своего третьего.

Мистер Моррелл был углекоп. Они не прожили в своем новом доме еще и месяца, как наступил праздник, открылась ярмарка. Она знала, муж, конечно же, не упустит случая повеселиться. В понедельник, в день ярмарки, он ушел спозаранку. Дети были страшно возбуждены. Семилетний Уильям умчался сразу же после завтрака, ему не терпелось порыскать среди балаганов. Энни которой было всего пять, он с собой не взял, и она все утро хныкала, просилась туда же. Миссис Морел хлопотала по хозяйству. С соседями она еще толком не познакомилась и не знала, кому доверить девчущку. Пришлось пообещать ей, что они отправятся после обеда.

Уильям прибежал в половине первого. Этот живой светловолосый веснушчатый мальчонка слегка смахивал на датчанина или норвежца.

— Мам, пообедать можно? — воскликнул он, прямо в шапке вбегая в дом. — Она начнется в полвторого, мне один дяденька сказал.

— Пообедаешь сразу, как будет готово, — ответила мать.

— А еще не готово? — воскликнул он, сердито уставясь на нее синими глазами. — Тогда побегу без обеда.

— И думать не смей. Обед будет готов через пять минут. Еще только половина первого.

— Там все начнется, — чуть не плача крикнул мальчуган.

— Ничего страшного, даже если и начнется, — сказала мать. — Теперь только половина первого, у тебя еще целый час.

Сынишка стал торопливо накрывать на стол, и все трое тотчас уселись. Они ели пудинг с джемом, и вдруг Уильям вскочил со стула и замер. В отдалении послышалось побрякивание запущенной карусели, затрубил

рожок. С искажившимся лицом мальчик посмотрел на мать.

— Вот видишь! — воскликнул он и кинулся к вешалке за шапкой.

— Пудинг прихвати... еще только пять минут второго, выходит, ошибся ты... два пенни свои забыл, — одним духом прокричала мать.

Вконец разогорченный, мальчик вернулся, схватил монетку и, ни слова не сказав, выбежал вон.

— Хочу на ярмарку, на ярмарку, — захныкала Энни.

— Да уж пойдешь, маленькая плакса, ишь как вся сморщилась, — сказала мать.

И попозже устало побрела со своей девочкой вдоль живой изгороди вверх по холму. Сено с полей уже убрали, и на стерню выпустили скот. Было тепло, мирно.

Миссис Морел не нравились такие праздники. Здесь крутились две упряжки деревянных коней, одна с помощью пара, другую водил по кругу пони; вертели ручки трех шарманок, слышался треск одиночных пистолетных выстрелов, оглушала трещотка торговца кокосовыми орехами, громко скликали охотников поиграть в «тетку Салли», владелица кинетоскопа хриплым голосом зазывала поглядеть диковинные картинки. Мать увидела своего сына — он стоял подле балагана со львом Уоллесом и упоенно глазел на изображения этого знаменитого льва, который убил негра и оставил на всю жизнь калеками двух белых. Она не стала мешать сыну и пошла купить ириску для Энни. Но скоро Уильям уже стоял перед ней, отчаянно взбудораженный.

— Ты ж не сказала, что придешь... тут столько всего, правда?.. этот лев, он убил трех человек... я свои два пенса потратил... вот, погляди.

Он вытащил из кармана две рюмочки для яиц, на обеих нарисовано по мускусной розе.

— Я их выиграл вон в том киоске, загнал шарики в ямки. Я их за два кона получил... полпенни за кон... вот, погляди, на них мускусные розочки. Мне их хотелось.

Это ему для нее хотелось, поняла мать.

— Гм! — сказала она довольная. — Они и вправду милые.

— Возьми, а то вдруг я разобью.

Сейчас, когда пришла мать, в нем все так и бурлило, и он потянул ее по ярмарке, показывая все подряд. Потом у кинетоскопа она объяснила ему, что значит каждая картинка, получился прямо рассказ, и мальчик слушал как завороженный. Он не отходил от нее ни на шаг. Так и льнул к ней, переполненный мальчишеской гордостью за мать. Ведь в своей черной шляпке и накидке она казалась настоящей леди, не то что другие. Встречая знакомых женщин, миссис Морел им улыбалась. А когда устала, спросила сынишку:

— Ну как, пойдём домой или ещё побудешь?

— Уже уходишь! — воскликнул мальчик, и такой упрек выразился у него на лице.

— Уже? Да ведь пятый час, как я понимаю.

— Ну почему, почему ты уходишь? — жалобно протянул Уильям.

— Если тебе не хочется уходить, останься, — сказала мать.

И вместе со своей девчужкой не спеша пошла прочь, а сын смотрел ей вслед, огорченный до глубины души и все-таки не в силах расстаться с ярмаркой. Проходя мимо трактира «Луна и звезды», миссис Морел услышала громкие мужские голоса, до нее донесся запах пива, и она прибавила шаг, подумала, что и ее муж, должно быть, там.

Около половины седьмого вернулся сын, теперь уже усталый, бледный и какой-то приунывший. Сам того

не понимая, он был удручен, оттого что отпустил мать одну. Стоило ей уйти, и ярмарка перестала его радовать.

— А папа приходил? — спросил он.

— Нет, — отвечала мать.

— Он пиво разносит в «Луне и звездах». Я видел через дырки в железных ставнях, он рукава закатал.

— Ха! — сердито воскликнула мать. — Он без денег. И будет рад, если сможет даром выпить, пусть даже ничего больше не получит.

Скоро стало смеркаться, миссис Морел не могла больше шить, и она поднялась и подошла к порогу. Все вокруг было пронизано праздничным неугомным возбуждением, которое наконец передалось и ей. Она вышла в садик. Возвращались домой с ярмарки женщины, ребятишки прижимали к груди кто белого барашка с зелеными ногами, кто деревянного коня. Изредка, нагружившись под завязку, нетвердыми шагами проходил мужчина. А то мирно шествовал во главе семейства примерный супруг. Но чаще женщины шли без мужей, только с детьми. В стужающихся сумерках сплетничали на углах домоседки, сложив руки под белыми фартуками.

Миссис Морел стояла одна, но ей было не привывать. Сын и дочурка спят наверху, значит, похоже, дом здесь, у нее за спиной, в целостности-сохранности. Но ожидающееся прибавление семейства угнетало. Жизнь казалась безотрадной — ничего хорошего уже не ждет ее в этом мире, по крайней мере пока не вырос Уильям. Да, ничего ей не остается, кроме безотрадного долготерпения — пока не выросли дети. А детей что ждет! Не вправе она заводить третьего. Не хочет она его. Отец подает пиво в пивной, лишь бы самому напитаться допьяна. Она презирает его — и прикована к нему. Новое дитя ей не по силам. Если б не Уильям и Энни, у нее



опустились бы руки в этой борьбе с нищетой, уродством, убожеством.

Слишком она сейчас отяжелела, на улицу не выйти, но и оставаться в доме не вмоготу, и она вышла в палисадник. Было жарко, нечем дышать. Она вглядывалась в будущее, и при мысли о том, что ждет впереди, ей казалось, ее похоронили заживо.

Крохотный палисадник окружали кусты бирючины. Миссис Морел постояла там в надежде, что запах цветов, красота угасающего вечера утешат ее. Напротив крохотной калитки была приступка, ведущая на холм, к высокой живой изгороди меж пламенеющих на закате скошенных лугов. Высоко в небе переливался, трепетал свет. Но вот уже померкли луга, землю и живые изгороди объяла сумеречная дымка. Темнело, и из-за холма поднялось красное сияние, доносились, теперь уже слабее, отзвуки ярмарочной суеты.

Иногда в провале тьмы, обозначившем тропинку между живыми изгородями, пошатываясь, брел домой мужчина. Какой-то парень припустился бегом по крутому у подножия склону холма и, споткнувшись о приступку, с шумом грохнулся наземь. Миссис Морел вздрогнула. А он поднялся, зло, но и жалобно ругаясь, будто это приступка виновата, что он ушибся.

Неужто и дальше все так и будет, подумала миссис Морел, и с этой мыслью пошла в дом. Нет, ничего не изменится в ее жизни, она уже начинала это понимать. Такой далекой кажется юность, и трудно представить, что это она, тяжело ступающая сейчас по двору в Низинном, десять лет назад так легко бежала по молу в Ширнесе.

— У меня-то что общего с этим? — спросила она себя. — У меня-то что общего со всем этим? Даже и с ребенком, которого я ношу! Сдается мне, сама я совсем не в счет.

Бывает, жизнь вцепится в человека, влечет его за собой, творит его судьбу, и, однако, эта судьба кажется неправдоподобной, будто дурной сон.

— Я жду, — сказала себе миссис Морел. — Жду, а тому, чего жду, может, и не бывать.

Она прибрала в кухне, зажгла лампу, помешала уголь в очаге, собрала на завтра стирку и замочила. Потом села за шитье. Проходил час за часом, и размеренно сновала взад-вперед иголка. Иной раз женщина вздохнет, утомившись, переменит позу. И все думает, думает, как лучше распорядиться тем, что ей дано, — ради детей.

В половине двенадцатого вернулся муж. Щеки над черными усами пунцовые, так и лоснятся. Голова покачивается. Сразу видно, очень собой доволен.

— Вон чего! Вон чего! Поджидаешь меня, лапушка? А я Энтони помогал, и сколько, думаешь, он заплатил? Паршивые полкроны, и ни гроша больше...

— Он считает, что остальное ты получил пивом, — резко сказала она.

— А я не получил... не получил. Ты мне верь. Я нынче совсем чуток выпил, верно тебе говорю. — Теперь в голосе его зазвучала нежность: — Глянь, я те какой пряничек принес, а ребятишкам вон орех кокосовый. — Он положил на стол круглый пряник и обросший волосками кокос. — Нет, видать, спасибо ни в жисть не дожدهшься, верно я говорю?

Не желая с ним ссориться, жена взяла кокос и потрясла, проверяя, есть ли в нем молоко.

— Орех что надо, не сумлевайся. Мне Бил Ходкинсон дал. «Бил, — говорю, — на что тебе три ореха-то? Может, дашь один для моего мальчика и девчонки?» А он говорит: «Как не дать, Уолтер, дружище, бери, какой глянулся». Ну я и взял, спасибо ему сказал. Трясти-то у него на глазах не стал, а он говорит: «Ты погляди,

Уолт, хорош ли орех взял». Так что я уж знал, орех первый сорт. Золотой он парень, Бил Ходкисон, золотой!

— Пьяному ничего не жаль, — сказала миссис Морел, — а вы оба с ним напились.

— Да что это ты говоришь, лапушка моя, кто напился? — возразил Морел. Был он до крайности доволен собой, а все оттого, что весь день помогал в «Луне и звездах». И сейчас болтал, не закрывая рта.

Миссис Морел, безмерно усталая, раздосадованная его болтовней, поспешила уйти спать, а он все ворошил угли в очаге.

Миссис Морел была родом из старой добропорядочной семьи горожан, славных сторонников Независимых, которые воевали на стороне полковника Хатчинсона и остались непоколебимыми конгрегационалистами. В пору, когда в Ноттингеме разорилось множество предпринимателей, связанных с производством кружев, обанкротился и ее дед. Отец ее, Джордж Коппард, был механик — рослый, красивый, заносчивый, он гордился своей белой кожей и голубыми глазами, но еще того более своей неподкупностью. Гертруда хрупкой фигуркой походила на мать. Но гордый и непреклонный нрав унаследовала от Коппардов.

Джордж Коппард мучительно терзался своей бедностью. Он работал старшим механиком в доках Ширнесса. Миссис Морел, Гертруда, была его второй дочерью. Она пошла вся в мать и ее больше всех любила; но унаследовала коппардовские ясные голубые непокорные глаза и высокий лоб. Она помнит, как ненавистна была ей властная манера отца в обращении с ее кроткой, веселой, добросердечной матерью. Помнит, как бегала по молу в Ширнесе и отыскивала корабль, который ремонтируют под началом отца. Помнит, как однажды побывала в доках и рабочие баловали ее и расхвалива-

ли на все лады, потому что была она милая и притом гордая девчушка. Помнит чудаковатую старушку учительницу в частной школе, у которой она была помощницей и которой так любила помогать. И она до сих пор хранит Библию, которую ей подарил Джон Филд. В девятнадцать лет она обычно возвращалась из церкви с Джоном Филдом. Был он сыном состоятельного коммерсанта, учился в колледже в Лондоне, и ему предстояло заняться коммерцией.

Ей навсегда запомнилось то сентябрьское воскресенье, когда после полудня они сидели вдвоем под вьющимся виноградом в саду за домом ее отца. Солнце пробивалось сквозь просветы между листьями, и солнечные блики образовали прихотливый узор, словно на них обоих накинули кружевной шарф. Иные листья были совсем желтые, будто плоские желтые цветы.

— Не шевелись! — воскликнул он. — Подумай, никак не пойму, какие у тебя волосы! Яркие, как медь и золото, и красные, будто пламенеющая медь, а где коснулось солнце, золотые пряди. Надо же, и это называется ша-тенка. Твоя мама говорит, они мышиного цвета.

Гертруда взглянула в его заблестевшие глаза, но ясное лицо ее едва ли выдало обуявшую ее радость.

— Но ты говоришь, ты коммерцию не любишь, — продолжала она.

— Не люблю. Терпеть не могу! — с жаром воскликнул он.

— И предпочел бы стать священником, — это прозвучало почти умоляюще.

— Да. Предпочел бы, если б думал, что из меня получится выдающийся проповедник.

— Тогда почему ж тебе не стать... не стать, кем хочешь? — В голосе ее прозвучал вызов. — Будь я мужчиной, меня бы ничто не остановило.

Она гордо вскинула голову. И Джон Филд даже оробел.

— Но отец такой упрямый. Он решил определить меня по коммерческой части, и он поставит на своем.

— Но ведь ты мужчина! — воскликнула Гертруда.

— Этого еще недостаточно, — хмурясь, отвечал Джон, смущенный и беспомощный.

Теперь, в Низинном, среди хлопот по хозяйству, уже имея кой-какое представление о том, что значит быть мужчиной, она понимала, что просто быть мужчиной и вправду недостаточно.

В двадцать лет из-за слабости здоровья она уехала из Ширнесса. Отец увез семью на родину, в Ноттингем. А отец Джона Филда разорился; и сын отправился учительствовать в Норвуд. Она ничего о нем не знала, пока наконец два года спустя не навела справки. Оказалось, он женился на своей квартирной хозяйке, сорокалетней вдове, у которой была кое-какая земля.

И однако миссис Морел по сей день хранит подарок Джона — Библию. Теперь она не назвала бы его мужчиной... Что ж, она отлично поняла, что ему дано, а что нет. И она хранит эту Библию, и нетронутой хранит в сердце память о нем. До конца своих дней, тридцать пять лет, она о нем ни разу не заговорила.

Двадцати трех лет она на рождественской вечеринке познакомилась с молодым человеком из Эроушвелли. Морелу было тогда двадцать семь. У него была хорошая осанка, держался он прямо и молодцевато. Его черные волнистые волосы к тому же еще блестели, и черная роскошная борода явно никогда не знала бритвы. Щеки румяные, а красный влажный рот особенно приметен оттого, что Морел много и заразительно смеялся. И смех редчайший — глубокий и звонкий. Гертруду Коппард он совершенно очаровал. Был он так ярок,

так полон жизни, такой услужливый и милый со всеми, так естественно звучали в его голосе комические нотки. У ее отца было отлично развито чувство юмора, да только сатирического. А у этого человека он другой: мягкий, немудреный, сердечный, какой-то веселящий.

Сама она была иного склада. Имела пытливый, восприимчивый ум и с огромным удовольствием, с интересом слушала других. Была она мастерица разговорить человека. Любила пофилософствовать и считалась девушкой весьма мыслящей. А всего больше ей нравилось беседовать с каким-нибудь хорошо образованным человеком о религии, философии или политике. Такая радость ей выпадала нечасто. И приходилось довольствоваться рассказами людей о себе, находить отраду в этом.

Была она небольшого роста, хрупкого сложения, с высоким лбом и шелковистыми прядями каштановых кудрей. Голубые глаза смотрели на мир прямо, целомудренно и испытующе. Руки были красивые, в Коппардов. Платья она носила неброские. Предпочитала темно-голубой шелк со своеобразной отделкой из серебристых фестонов. Фестоны да тяжелая брошь витого золота служили единственными украшениями. Была она еще совсем не тронута жизнью, глубоко набожна и исполнена милого чистосердечия.

Глядя на нее, Уолтер Морел словно таял от восхищения. Ему, углекопу, она представлялась истинной леди, загадочной и чарующей. Когда она разговаривала с ним, ее южный выговор, ее великолепный английский язык приводили его в трепет. Она приглядывалась к нему. Он хорошо танцевал, танец был словно его радостным естеством. Его дед, французский беженец, женился на буфетчице-англичанке... если только это можно назвать браком. Гертруда смотрела на молодого